

ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН

Везный человек

ФТМ

Москва
2021

УДК 82/89
ББК 84(4Вел)
Ч51

GILBERT KEITH CHESTERTON
The Everlasting Man
1925

Перевела с английского Н. Трауберг

Честертон Г. К.

Ч51 Вечный человек : [трактат] / Гилберт Кийт Честертон ;
[пер. с англ. Н. Трауберг]. — М. : «RUGRAM_ФТМ»,
2021. — 206 с. — (Серия «Пальмира — Честертон»).

ISBN 978-5-521-74391-9

Религиозно-философский трактат английского писателя
Г. К. Честертон (1874–1936), в котором история человечества
показана с точки зрения христианина.

УДК 82/89
ББК 84(4Вел)

© Трауберг Н. Л., наследники,
перевод на русский язык, 2021

© Оформление.

ООО «Агентство ФТМ, Лтд.», 2021

ISBN 978-5-521-74391-9

ВВЕДЕНИЕ

(План этой книги)

Чтобы увидеть свой дом, лучше всего остаться дома; но если это не удастся, обойдите весь свет и вернитесь домой. В одной из моих книг я поведал о таком путешествии. Теперь я хочу написать другую, которая (как все ненаписанные книги) лучше всего, что я писал до сих пор. Однако мне кажется, что я так и не соберусь за нее приняться, и потому я воспользуюсь сейчас этим образом. На пологих склонах долин — быть может, тех самых, где выцарапаны древние белые лошади, — жил мальчик, которому очень хотелось найти могилу или статую великана. Однажды он отправился на поиски, отошел подальше и увидел, что собственный его огород, сверкающий на солнце, словно яркий, многоцветный щит, — часть необъятного тела. Он просто жил на груди великана и не видел ее, так была она огромна и так близка. Именно это, по-моему, происходит с каждым, кто думает сам за себя, и в этом — суть моей книги.

Другими словами, я хочу сказать, что лучше всего увидеть христианство изнутри; но если вы не можете, взгляните на него извне. Популярным хулителям христианства не удастся его так увидеть. Они, в полном смысле слова, топчутся на ничьей земле и не уверены даже в своих сомнениях. Нападают они не прямо, а как-то сбоку и бьют не по важным, а по случайным нашим свойствам — вспомните столь привычную ныне антиклерикальную болтовню. Они обличают трусость священника, чью проповедь нельзя прервать, и говорят, что он окопался на кафедре, хотя не считают окопом редакцию газеты. Ни журналист, ни священник не заслужили обвинения в трусости, но журналисты все же больше заслужили этот упрек. Священник показывается

нам, мы можем его ударить, когда он вышел из церкви; журналист нередко скрывает даже свое имя. Нет конца статьям и письмам о том, что церкви пустуют, но никто не потрудится зайти и посмотреть, пусты ли они или какие из них пусты. Антиклерикалы и агностики провозвестили всеобщий мир; их, а не нас поразила (во всяком случае, должна была поразить) всеобщая война. Если Церковь опозорена войной, ковчег опозорен потопом. Когда мир сбивается с пути, это лишь доказывает, что Церковь с пути не сбилась. Она оправдана не тем, что мы безгрешны, а тем, что мы грешны. Но так уж относятся теперь к церковному преданию — отрицают его, и все. Хорошо, когда мальчик живет на земле своего отца; хорошо, если он отошел подальше и увидел свой дом. Но нынешние критики — ни там, ни сям. Они застряли в овраге, откуда не увидишь вершин. Они не могут стать христианами, не могут и забыть о христианстве. Вся суть их, все дело — в противлении, потому что они так мрачны, несправедливы, придиричивы. Они томятся в тени веры, но утратили ее свет.

Конечно, лучше всего быть так близко от нашего духовного дома, чтобы его любить; но если вы не можете этого, отойдите от него подальше, иначе вы его возненавидите. Лучший судья христианству — христианин, но следующий за ним, скажем, последователь Конфуция. А вот хуже всего именно тот, кто особенно рад судить, — непросвещенный христианин, превращающийся в агностика. Его втянуло в конец распри, начала которой он так и не понял, и он устал слушать о том, о чем и не слышал. Он не может судить о христианстве спокойно, как сторонник Конфуция или как сам бы он судил о конфуцианстве. Он не может волей воображения перенести Церковь за тысячи миль, под странные небеса Востока, и судить о ней беспристрастно, как о пагоде. Говорят, святому Франциску Ксаверию не удалось построить в тех краях церковь, вознесшуюся выше всех пагод, отчасти потому, что другие миссионеры утверждали, будто он и его помощники изображают апостолов в виде китайцев. Но го-

раздо лучше увидеть в них китайцев, чем безликих идолов или фигурки в тире, по которым может стрелять пуштоголовый горожанин. Лучше увидеть в христианстве чужой, азиатский культ, в митре епископа — странный убор бонзы, в посохе — извившийся змеей жезл, в четках — молитвенное колесо. Тогда мы хотя бы не разъяримся, как скептики, и не поглупеем, как они. Их нелюбовь к священству стала атмосферой, необоримой атмосферой враждебности. По сравнению с ней было бы лучше увидеть Церковь на другом континенте или на другой планете. Было бы мудрее спокойно взирать на бонз, чем раздраженно ворчать на епископов. Лучше пройти мимо церкви, как мимо пагоды, чем топтаться на пороге, не решаясь ни войти и помочь, ни уйти и забыть. Тем, кому не дает покоя отвращение к моей вере, я искренне советую увидеть в апостолах китайцев, другими словами, судить о христианских святых так же справедливо, как о языческих мудрецах.

Теперь мы подходим к самому главному. Я попытаюсь показать в этой книге, что, если мы увидим церковь извне, мы обнаружим, как она похожа на то, что говорят о ней изнутри. Когда мальчик отойдет далеко, он убедится, что великан очень велик. Когда мы увидим христианскую церковь под далеким небом, мы убедимся, что это Церковь Христова. Словом, как только мы станем беспристрастными, мы поймем, почему к ней относятся с таким пристрастием. Об этом стоит поговорить немного подробнее.

Я понял, что повесть о Боге неповторима, — и сразу вслед за этим понял, что неповторима и повесть о человеке, которая вела к ней. Христианство поражает, если честно сравнить его с другими религиями; точно так же поражает человек, если сравнить его с природой.

Самые современные ученые изощряются в софизмах, чтобы смягчить переход от животного к человеку и не менее резкий переход от язычества к христианству. Чем больше мы узнаем об этих переходах, тем резче и поразительней

становятся они для нас. Ученые же не видят их именно потому, что пристрастны, потому, что не хотят видеть разницы между черным и белым. Поддавшись досаде и протесту, они доказывают, что белое — грязновато, а черное — не так черно, как его малюют. Я отнюдь не хочу сказать, что для протеста нет причин; я не говорю, что позиция таких ученых непонятна и непростительна, я просто говорю, что она далека от научной объективности. Можно сказать, что иконоборец — в ярости, можно сказать, что он — в праведном гневе, но вряд ли можно сказать, что он беспристрастен. Только из чистого лицемерия можно обвинить в беспристрастии абсолютное большинство поборников эволюции, разоблачителей христианства и авторитетов по сравнительному изучению религий. Да и как им быть беспристрастными, какое может быть беспристрастие, когда весь мир спорит не на жизнь, а на смерть о том, великая ли надежда ведет нас или сбивает с толку глупое суеверие?

Я не собираюсь быть беспристрастным, но я постараюсь все же быть беспристрастней, чем они. Я постеснялся бы говорить о далай-ламе тот вздор, который они несут о папе римском, или ругать Юлиана Отступника, как они ругают иезуитов. Ученые не беспристрастны, они не соблюдают даже своих, ученых правил, особенно же пристрастны они, когда предпочитают быстрой перемене медленные, постепенные изменения. Они видят повсюду, как сгущаются сумерки, ибо верят, что это сумерки богов. Не знаю, но посмею предположить, что они не видят того дневного света, в котором живут люди.

Я утверждаю, что на дневном свете совершенно единственны, ни с чем не схожи животное, которое зовется человеком, и Человек, который зовется Христом. Поэтому я разделил книгу на две части — о людях, пока они были язычниками, и о том, как изменились они, когда стали христианами. И для первой части, и для второй понадобился особый метод; применять его нелегко, еще труднее — определить и защитить.

Чтобы стать беспристрастным в здравом, единственно верном смысле слова, надо увидеть все заново. Мы видим честно, когда видим впервые. Вот почему, скажу мимоходом, детям совсем нетрудно принять церковные догматы. Но Церковь, столь успешно помогающая трудиться и бороться, рассчитана и на взрослых, не только на детей. Для пользы дела в ней есть и много привычного, есть традиция, даже рутина. Пока человек честно чувствует ее суть, это вреда не приносит. Но когда он усомнится в самом главном, необходимо вернуть ему детскую простоту и детское удивление — тот реализм, ту объективность, которых нет без невинности. Попытаемся же сделать это, а если не сможем, попытаемся хотя бы, чтобы он увидел, как дико, как безумно то, что мы хотим ему показать. Все вправе быть простым и привычным, если это ведет к любви, но не к пренебрежению! Как бы ни относиться к тому, о чем мы поведем речь, пренебрегать этим не стоит. Если вы пренебрегаете, если вы это презираете, вы — в заблуждении. Чтобы вы увидели все, как оно есть, надо пробудить самую дику фантазию.

Это станет понятней, если я сошлюсь на что-нибудь — нет, на все то, что считают прекрасным или чудесным. Джордж Уиндэм рассказывал мне, что он видел, как поднимался один из первых аэропланов, и это было чудесно, хотя и не чудесней коня, который дал человеку сесть на себя верхом. Кто-то сказал, что человек на коне — самое прекрасное зрелище в мире. Пока мы это чувствуем, все в порядке. Легче и лучше всего чувствовать это, если тебя научили любить животных. Мальчик, помнящий, как хорошо отец ездил на коне и как хорошо с конем обходился, знает, что конь и человек могут ладить. Он возмутится, когда обидят лошадь, ибо знает, как надо с ней обращаться; но не удивится, что человек седлает ее. Он не станет слушать современных философов, которые скажут ему, что лошадь должна бы седлать человека; не поддастся безрадостному вымыслу Свифта и не поверит, что люди — это мерзкие обезьяны, а лошади — светлые боги. Конь

и человек, вместе, добры и мудры для него и потому могут стать символом чего-то высшего, скажем святого Георгия. Сказка о крылатом коне его не удивит; и он поймет, почему у Ариосто христианские рыцари скачут по небесам.

Но если человек утратил удивление, его надо лечить, и совсем иначе. Предположим, что всадник на коне значит для него не больше, чем человек, сидящий на стуле. Красота, которую видел Уиндэм, — красота конной статуи, красота рыцаря — стала для него обыденной и скучной. Он думает, что она была только модой, а теперь из моды вышла; а может, он просто устал от фальшивых ее восхвалений или от тяжкого ухода за лошадьми. Что бы ни было причиной, он ослеп и не увидит ни коня, ни всадника, пока они не покажутся ему совершенно незнакомыми, как если бы они явились с другой планеты.

Тогда из темного леса, на заре времен, к нам неуклюже и легко выйдет удивительнейшее создание, и мы увидим впервые непомерно маленькую голову на слишком длинной, слишком толстой шее, словно химера на трубе, и гриву, подобную бороде, выросшей не там где надо, и крепкие ноги с цельным, а не с раздвоенным копытом. Существо это можно назвать чудищем, ибо таких на свете больше нет, но главное здесь — в ином: если мы увидим его, как видели первые люди, мы лучше поймем, как трудно им было его объездить. Пусть оно не понравится нам, но поразит — непременно; поразит и двуногий карлик, покоровший его. Длинным кружным путем мы вернемся к чуду о коне и человеке, и оно, если то возможно, станет еще чудесней. Мы увидим святого Георгия, который еще отважней, ибо скачет на драконе.

Это просто пример, я не хочу сказать, что чудище первых людей реальней или лучше обычной кобылы в обычном стойле обычного человека, который не видит в ней ничего удивительного. Если уж выбирать, я выберу эту крайность, простой и здравый взгляд. Но истина — в этих крайностях, ее нет в туманном промежутке усталости,